18+

Наталья Червяковская

Малика и Миша — наше счастье, наши лебедята

Современная проза и поэзия



Наталья Червяковская

Малика и Миша — наше счастье, наши лебедята. Современная проза и поэзия

«Издательские решения»

Червяковская Н.

Малика и Миша — наше счастье, наши лебедята. Современная проза и поэзия / Н. Червяковская — «Издательские решения»,

Перед нами — заключительная часть трилогии, начало которой было положено в книге «Мой Миша». Разворачивается история семьи длиною в целую жизнь: повесть, в которой сплетаются два крепких корня — мордовский и русский, а каждый член семьи соединён с остальными неразрывной нитью, тянущейся из поколения в поколение. О страстной любви Малики и Миши, о семье их дочери и, конечно же, самое главное — история о прекрасных внуках, которых у них четверо, об их продолжении, об их чёрных и белых лебедятах.

© Червяковская Н.
© Издательские решения

Содержание

Лебедята 6
Радость и утрата — два крыла одной жизни 25
Конец ознакомительного фрагмента. 37

Малика и Миша — наше счастье, наши лебедята Современная проза и поэзия

Наталья Червяковская

© Наталья Червяковская, 2026

ISBN 978-5-0071-7483-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Лебедята

В нашем доме каждый год
Счастье прилетает вновь —
Словно птица на рассвете,
Что, проснувшись, тихо будит
Задремавшую листву,
Словно тёплый ветер с моря,
Что несёт с собой любовь,
Наполняя каждый угол
Светом, радостью, теплом.

Наша дочь и милый зять
Дарят нам внучат опять.
Бабушка с дедулей ждут,
И, как гнёздышко, наш дом
Привечает птенчиков своих —
Их весёлый, звонкий смех,
Их шаги, что будит утро.
И опять, и вновь, и снова
Сердце полнится теплом,
Благодарностью и светом,
Словно небо надо мной
Распахнулось в ясный день.

Два мальчишки, две девчонки —
Плач кругом и распашонки,
Смех звенит, как колокольчик,
И игрушки под столом.
Двое взрослых словно ночки,
Тихо светят в этой мгле,
Все мордовские в них строчки —
Как узор на полотне.

Это наше счастье, наши лебедята —
Дедушкина с бабушкой нежные подарки,
Словно два крыла над колыбелью,
Словно песня, что звучит без слов.
Чёрный лебедь, белый лебедь,
Что за танец — лёд в балете,
Крылья сложены в объятья,
В этом танце — вся душа.

Ну а младшие двойнята,
Белые все в папу лебедята,
Словно облака над речкой,
Словно иней на заре.
Чёрный лебедь, белый лебедь,
Что за танец — лёд в балете,
Каждый взмах — как вдохновенье,
Каждый взгляд — как свет в окне.

Внуки — радость и тепло,
С ними в доме так светло,
Словно солнце в каждом взгляде,
Словно луч в оконной раде,
Словно песня в каждой строчке,
Словно смех в любом листочке —
Дом наполнен, дом живёт,
Сердце весело поёт.

В нашем доме каждый год
Счастье прилетает вновь,
Словно птица в тёплый вечер,
Словно сказка наяву,
Словно добрая примета,
Что сбывается в судьбе.

Наши лебедята — внуки, дети.

Эрьзя:
Сюкпря, сюкпря, лейнекай —
Кодат мазый, кодат мала!
Седись монь эрьва читне
Сюкпря марто вадря.

Мокша:
Кяльгот, кяльгот, лейнязень,
Кодат танцти, кодат мазы!
Монь седиезе ликуй,
Кода кодай, кода панжи.

В каждом периоде человеческой жизни нас незаметно, но неотвратимо меняет всё то, что нас окружает: семья, а может быть, и дети — но не те дети, которых мы произвели на свет сами, а дети наших детей. И тогда всё вокруг словно поворачивает вспять, будто время делает осторожный шаг назад: мы снова молоды, энергичны и полны сил, снова готовы отдавать тепло, не считая часов, окружаем их заботой и заворожённо наблюдаем, как они растут, как прямо

на наших глазах расправляют крылья — сначала робко, а потом всё смелее, готовые вот-вот взлететь.

Они были как два лебедя — он белый, она чёрная. Малика Сергеевна и Михаил Гараевич прожили вместе столько лет, что уже и не вспомнили бы, где кончается один и начинается другой: их жизни сплелись так тесно, что шов между ними давно зарос и стал неразличим. Их единственная дочь Яся выросла в этом тёплом гнезде, окружённая заботой, которой хватало бы на десятерых, а когда привела в дом Никиту, он вошёл туда так естественно, будто всегда там был, — не гостем, не зятем, а словно родным сыном, которого в этой семье просто долго ждали. И вот в этой красивой семье, где мордовская кровь сплелась с русской, один за другим стали появляться птенцы — маленькие, звонкие, наполняющие дом новым смыслом.

Сначала появился внук — Миша, вылитая бабушка, Малика Сергеевна: её глаза, её упрямая мягкость, будто в мальчике ещё раз отразилась та, которая всегда умела и настоять на своём, и обнять так, что отступали любые обиды. В его взгляде словно оживали её тихая настойчивость и та особенная теплота, перед которой невозможно устоять. Потом родилась внучка — вся в мордовскую мокшанскую ветвь, — и в её чертах словно проступил дедушка, Михаил Гараевич. Счастливый молодой дед подолгу вглядывался в крошечное лицо, в эти ещё не устоявшиеся, но уже такие родные черточки, и не мог наглядеться, точно боялся пропустить тот самый миг, когда они станут ещё яснее, ещё отчётливее. Его внучка, его мордовочка Малика Никитовна, — имя дедом внучке было подарено в честь той, с кем разделил жизнь, в честь своей любимой супруги Малики Сергеевны. Он держал её на руках бережно, словно самое хрупкое сокровище на свете, боясь лишним движением спугнуть это тихое чудо, и смеялся так, как смеются только очень счастливые дедушка и бабушка, — беззаботно и светло, будто время на мгновение отступило и ненадолго вернуло ему всё самое дорогое сразу.

А потом всё завертелось — быстро, шумно, без передышки, словно сама жизнь решила, что времени на раскачку у неё нет. Яся в двадцать лет родила первого ребёнка, через два с половиной года на свет появилась вторая дочь, и вот, едва малышке исполнилось шесть месяцев, Яся снова оказалась в положении. Родня, конечно, ждала и радовалась каждому внуку — но чтобы так скоро, так стремительно, и — о чудо — их будет двое сразу. Совсем скоро у Яси и Никиты будет четверо детей, а у Малики Сергеевны и Михаила Гараевича — четыре внука. «С ума сойти», — только и повторял Ясин отец, качая головой, и в этом его вздохе было куда больше гордости, чем удивления.

А вечерами в доме Хоркиных, когда дети засыпали и стихал дневной гомон, Михаил Гараевич усаживался рядом с женой, брал её за руку и говорил, глядя в глаза, с той теплотой, от которой у Малики Сергеевны всякий раз подрагивали ресницы:

— Не до сплина нам, родная моя. Ты только представь — ещё двое! И как я счастлив, как я счастлив, ты даже вообразить не можешь. Наша Ясенька, наш Никита — молодцы, какие молодцы! Знаешь, как я их люблю и какое это счастье, что наш Никита повстречал нашу дочь, что сложилась у них такая семья, что растут у нас такие внуки. Как мы изменились благодаря им — стали мудрее, а может, и веселее, мы снова стали детьми, у нас так весело и интересно каждый день. Моя прекрасная супруга, моя Богиня, моя девочка, любимая моя Малика Сергеевна — самая прекрасная чёрная лебедь, с каждым днём всё моложе и моложе. — А я, твой чёрный лебедь, Миша, тоже, знаешь ли, ещё молод и полон сил — бороду вот сбрил и словно сбросил с плеч десяток лет, — с усмешкой проговорил он, любуясь собственной дерзостью.

— Ты у меня белый лебедь, — мягко поправляла мужа супруга, и в голосе её слышалась та особая нежность, что приходит только с годами, — нежность, вымоленная у жизни, тёплая и тихая, как вечерний свет в окне, что ложится на подоконник и не спешит уходить. — Белый-белый, не спорь.

Михаил Гараевич рассмеялся в ответ — легко и открыто, будто и вправду помолодел: «Да какая, право, разница, какого мы цвета? Мы вместе — и это самое главное, а всё остальное — сущая мелочь, пустяк, о котором и говорить не стоит».

А помнишь, — вдруг оживился он, и глаза его загорелись тёплым, лукавым огоньком, — как наша внучка не узнала меня без бороды? Сидела у тебя на руках и смотрела на меня во все глаза, будто на чужого: хмурилась, поджимала губы, вглядывалась с опаской — и почти неделю отказывалась идти ко мне на руки. Словно я был не дедом её, родным и знакомым до последней черточки, а незнакомцем, случайно забредшим в дом и застывшим неловко у порога, не смея шагнуть дальше. А я ведь перед ней — свой, родной, да только без бороды она меня и знать не желала, будто борода та и была всем моим родством. Дед молод, моя мордовочка, — сказал Михаил Гараевич, и в голосе его зазвенела гордость. — Как же она похожа на меня! И это чудо — моя любимая мордовочка, вся в свою мамочку, нашу Ясю Михайловну, нашу Ясеньку.

— Конечно, помню, родной мой, — отвечала Малика Сергеевна, и в голосе её звенела тихая, обволакивающая нежность, точно тёплый свет лампады, что мягко дрожит в вечернем сумраке и не спешит отпускать согретое им тепло. — Разве такое забудешь? И нашего внука помню, которого мы все ласково зовём «мой Миша», — растёт такой разумный мальчик, смышлёный не по годам: глянет — и будто сразу всё понимает, схватывает на лету каждое слово, будто на ладошке у него умещается весь мир, стоит только захотеть. И наша красавица внучка, наша Малика Никитовна. Миша она такая славная — такая светлая, такая ласковая, — что напоминает мне тётушку Утяшу скорее, нежели тебя: она же совсем ещё крошка, а эта мордовская кровь в ней — и тётушка, словно родник, пробившийся сквозь годы и расстояния, слышится в её чертах. Гляжу на неё и говорю по-эрзянски: «Нуцькам, вечкеман, морынем» — мой птенчик, моя прелесть, моя песня. Слова эти сами слетают с губ, тихо и светло, как молитва. И скоро у нас будут ещё два внука. Пусть растут в животе у нашей доченьки, набираются сил, копят тепло — то самое тепло, что однажды согреет весь белый свет, когда они впервые его увидят.

— Знаешь, родная, — вдруг серьёзно сказал супруг, и в его голосе проступила та глубокая, не напоказ, тревога, что живёт в отцах до конца дней и не гаснет ни на минуту, — Яся такая худенькая, хрупкая, словно тростинка на ветру, а этот огромный, тяжёлый живот. Малика, ей вообще нужен отдых — настоящий, полноценный, такой, чтобы она могла наконец выдохнуть, расправить плечи, почувствовать под ногами твёрдую землю. Она ведь сейчас родит наших лебедят-внучат — и надо как-то ей набраться сил, поберечь себя, не растрачивать эту драгоценную энергию по мелочам, не разменивать её на пустые заботы. Она у меня одна-единственная. — Он замолчал, и в этом молчании было всё: и тревога, и отцовская любовь, и нежность, которая сильнее страха, и та тихая молитва, которую не произносят вслух, но берегут в самом сердце. Она была его бесценным сокровищем, его тихой радостью и его гордостью, она была его жизнью — и каждое слово, сказанное о ней, он произносил так, будто держал её судьбу в собственных ладонях, боясь разжать пальцы и отпустить хоть на мгновение.

— Мой Миша, а ты ещё говоришь, что это я вслух переживаю за свою девочку, — откликнулась Малика Сергеевна с мягкой, почти ласковой укоризной, и в голосе её зазвучала та осо-

бая теплота, с какой мать говорит о самом дорогом. — Да ведь материнство — это не просто радость, это ответственность, это огромная нагрузка на организм, и не всякой женщине она по силам. Но она справится, я верю — сердцем верю, всей душой. И мне кажется, она же наш дипломированный психиатр, она доктор — сама должна понимать, что такими темпами рожать детей нельзя, что нельзя не давать поблажки ни телу, ни самой себе, ни своему здоровью. Она любит своего мужа Никиту и, судя по всему, всей душой хочет белых лебедят — всех в их папочку, таких же красивых да ладных, как он сам.

— Мой Миша, наша Яся была избалованным ребёнком, — продолжала она, и голос её сделался задумчивым, будто она негромко перелистывала страницы памяти одну за другой, задерживаясь на каждой, касаясь давно минувшего с той бережной нежностью, с какой касаются пожелтевших фотографий, где каждый штрих хранит тепло чьих-то рук и отзвук давно отзвучавшего смеха. — А видишь теперь, как раннее замужество и рождение детей её изменили, как отшлифовали её характер, точно камень, долго тронутый водой: ни одной резкой грани не осталось, всё сгладилось, округлилось, засветилось мягким, ровным светом. Какая она стала степенная, гордая — не узнать прежнюю: та была ветром, а эта — рекой, что нашла своё русло и несёт свои воды спокойно и полно. Она наше счастье, она достойная молодая женщина, каких поискать, и сердце моё сжимается от одной мысли, что кто-то или что-то может это счастье омрачить. И мне так хочется, чтобы это счастье у неё не отнималось, чтобы оно держалось за неё крепко, чтобы никакая беда не сумела до него дотянуться, чтобы беды обходили её дом стороной, как обходят путники опасный овраг. Пусть так и будет, и я сложу для неё самое заветное, что мать желает любимой дочери:

Монь вечкема тейтерькай,
Рассвет в твоих глазах,
Эрьке чись мазый ульде —
Как яблоня в садах.

Кудосот валдо ульде,
Пусть светлый будет дом,
Сюдосот паро ульде —
Добро горит огнём.

Моронь морадо, седистэ,
Пой сердцем, не устань,
Моронь морадо, седистэ —
Пусть песнь взлетает в высь.

Кода сэнь менельсь валдо,
Как небо в синеве,
Истя эряфот келей ульде —
Пусть жизнь твоя вольна.

Кода лейнесь чуди,
Река бежит в луга,

Истя парось тонть марто ульде —
Пусть рядом доброта.

Веть кинть вастс, тейтерькай,
Иди своей тропой,
Прясо паця, седисэ валдо —
С открытою душой.

Эряк, вечкемань тейтерькай,
Живи, любовь моя,
Пингеде пингес, моронь морадо —
Пусть песня длится век, как свет зари.

Материнская любовь — это единственный свет, что не гаснет вовеки, даже когда мы, словно перелётные птицы, покидаем отчий кров и уходим в неведомую даль. Она не слабеет с разлукой, не меркнет с течением лет, не ветшает под дыханием стужи и не требует ничего взамен — ни благодарности, ни обещаний, ни возвращения. Она просто светит нам вослед из родного окна: тихо, ровно, неустанно, как лампада перед образами, как путеводная звезда над спящей землёй.

И просит она у небес лишь единого — чтобы дорога дочери была широка, как полноводная река в весеннем разливе, и светла, как синий небосклон на заре; чтобы каждый её шаг встречал простор, а не преграду, чтобы ветер был попутным, а камень не ложился под ноги; и чтобы над головой у неё всегда оставалось это чистое, высокое небо — вольное, безоблачное, благословенное.

— Я всё замечаю, родная, — ответил Михаил Гараевич, и в этих словах было куда больше, чем в иных долгих и громких речах, — потому что звучали они не просто голосом, а тем взглядом, каким отец смотрит на своих родных: взглядом, в котором без единого лишнего слова умещается целая жизнь, прожитая ради них, день за днём, год за годом. — Малика, если бы ты только знала, как я вас люблю, как боюсь за вас и как горжусь вами. В этом признании было всё сразу: и тревога, которую отец носит в себе каждый день, словно невидимую ношу, и нежность, которую не всегда легко высказать вслух, и гордость, которую он бережёт глубоко внутри, не выставляя напоказ. А Ясенька у нас и вправду необыкновенная. Настоящая. Моя любимая мордовочка.

Отцовская любовь — она глубока, как тихая река, что течёт ровно и неспешно, без лишнего шума и суеты, но способна прокормить целый край, напоить его живительной влагой и уберечь от засухи. Она живёт не в громких словах и не в пышных обещаниях, а в душе и сердце — там, где не нужны доказательства, где всё сказано самим присутствием, самой заботой, самым молчанием, полным тепла. Так отец любит дочь свою — кельгомац эрьхке шиня, светлой, как утреннее озеро, бережно и преданно, как умеет любить только отец. Так любит он семью свою — семьянь кельгомац, крепкую и единую, словно корни старого дуба, что держат землю и дают силу молодым побегам. Так любит он жену любимую — кельгомац кудоравань, верную спутницу на всех дорогах жизни, тепло её рук и свет её глаз. И внуков любит он — внуконь кельгомац, с той же нежностью, что когда-то дарил дочери, только ещё тише, ещё

бережнее, словно хранит в ладонях самое дорогое. И эта любовь не гаснет с годами, а лишь становится глубже — как река, что чем дальше течёт, тем полноводнее и щедрее становится.

С рождением внуков бабушка Малика словно заново родилась: в ней разом проснулась какая-то новая, неиссякаемая сила, которая гнала её вперёд и не давала остановиться ни на минуту, — будто внутри зажгли неугасимый огонёк, согревавший всех вокруг. Она, конечно, ворчала — куда без этого, — но весь огромный семейный клан держала под своим неусыпным, ревнивым присмотром, ни на шаг не выпуская из поля зрения. И не только собственный дом: две семьи жили не под одной крышей, нужно было навещать родителей, и они навещали как полагается — с подарками в руках и ежедневными новостями в телефоне, по видеосвязи, чтобы ни одна радость, ни одна мельчайшая подробность не осталась нерассказанной. Её семья с Михаилом Гараевичем, семья дочери Яси и зятя Никиты и любимых внуков — молодые родители по-прежнему жили с ними под одной крышей, и маленькие дети требовали дополнительных рук, — да ещё семья совсем пожилых родителей Малики Сергеевны: всех она держала в поле своего внимания, никого не забывая, никого не обделяя теплом. Отцу её, Сергею Борисовичу, прадеду и столпу этого клана, было девяносто пять лет, и он держался в здравом уме и крепком здоровье, словно сам возраст почтительно отступал перед ним, склоняя голову; а матери, Веронике Андреевне, шёл уже восемьдесят шестой год. Все были под присмотром Малики и Михаила, все укутаны заботой, как тёплым платком в студёный вечер, — плотно, надёжно, до самого сердца.

Чёрная кошка с гордым и красивым именем Оксанка облюбовала московскую квартиру родителей Малики Сергеевны. Она поселилась в комнате с куклами — в той самой, где хранилась редкая, любовно собранная коллекция Вероники Андреевны. Её, конечно, пытались забрать в квартиру семьи Хоркиных, но увы — там она хандрила, тосковала и то и дело спорила с Пантелеймоном, точно кошка с собакой. Да и Сергей Борисович уж очень её любил, эту роскошную чёрную стать. Ещё бы, повторяла Малика Сергеевна: после заброшенной мордовской деревни попасть в шестикомнатную московскую квартиру! Малика её обожала — эта чёрная кошка когда-то спасла её от одиночества, в те дни, когда она была в заложниках. Пусть же живёт моя царица кошачьих, как и полагается, в роскоши — да и отца радует.

Мой отец — почти век жизни. Малика его любила, души в нём не чаяла и порой горько жалела, что с ним ссорилась, обижала, дерзила. Бывало, когда она выбиралась к нему, Малика заходила к нему в кабинет и смотрела на него такими глазами, что в них читалось всё без слов. «Отец, папочка мой родной, как же я тебя люблю, как же я благодарна тебе за всех нас! Всё, что мы имеем, — только благодаря тебе». Он звал её свою красивую Малику, которая уже сама бабушка, но для него она навсегда оставалась любимым ребёнком; ради неё одной он готов был весь мир кинуть к её стопам. «Малика, — он смотрел на неё, — какая ты у меня красавица, и с годами всё краше. Устаёшь, малыш? Хочешь, наймём нянек для деток, отдохни». — «Нет, папуль, я хочу сама растить их — они моя жизнь, они моё всё. И ты с мамой Никой вы мои любимые родители».

«Отец, говорила ли я тебе когда-нибудь? А впрочем, скажу… Я каждую секунду своей жизни благодарю Бога, что подарили мне такого отца. Жаль, я не знала матери своей, Людмилы Константиновны, мамочки, но есть Вероника Андреевна… Ты мой свет, ты моё счастье, ты моя гордость». Она взяла руки отца и поцеловала. «Ну же, — сказал отец, — хотя сейчас можно тебе всё, можно, родная». Он обнял дочь. «Спасибо, Малика, за внучку нашу Ясеньку, катёночку мою, за Мишу твоего и за Никиту — он у нас такой чудесный молодой человек, меня в молодости напоминает». — «Неужели?» — спросила Малика. «Именно так, — ответил

отец. — И за моих правнуков. Я проживаю долгую жизнь, и судьба меня наказала, забрав твою мать, но она и одарила щедро, подарив мне всех вас».

Не токмо хлебом единым жив человек, но любовью отчей — той, что светлее солнца красного и глубже моря синего. Ибо хлеб насыщает тело, а любовь отца питает душу, и нет на земле пищи слаще. Отец для дочери — что дуб вековой для ростка младого: корнями держит, кроной укрывает, и в бурю не даст сломиться, и в зной не даст иссохнуть. Могучи его ветви, но нежна их тень, и под сенью той растёт дитя, не зная страха. И как река не скудеет, к морю стремясь, так и любовь отцовская не иссякает с годами, но день ото дня лишь полнится — тихо и неотвратимо, как полнится весной талая вода. Ибо в дочери своей отец не только плоть свою продолжает, но и душу свою отражает — и в глазах её, словно в зерцале чистом, видит он и прошедшее, и грядущее, и весь труд свой, и всю надежду, и всё, что не успел сказать словами. А она, дитя его, что колос, солнцем вспоённый и росой умытый, отвечает ему благодарностью дочерней — тихой, глубокой, до конца не высказанной, — ибо нет дара выше, чем отец, что жизнь дарует и судьбу свою к ногам дитяти слагает. И покуда жива на земле любовь отца к дочери — не оскудеет мир добром, не оскудеет светом, ибо она есть корень всех корней и свет всех светов.

Покуда дочь идёт по отчей стороне —
не гаснет свет небес, не меркнет день в окне,
и тень от крон отца, тиха и широка,
лежит на люльке так, как тёплая рука,
и в этой тени ей не знать потерь вовек,
пока над ней стоит отцовский тихий свет.

Она растёт, как колос утренним теплом,
и впитывает молча отчий светлый дом:
не то, что говорят, а то, что без речей
останется в крови и памяти ничьей, —
любовь, что не слыхать, но что хранит в пути,
когда уже назад не повернуть, не возвратить.

Отец — как дуб в полях: корнями в землю врос,
ветвями держит небо, а тенью — сон и плёс.
Он не просил наград, не ждал иных щедрот —
лишь в дочери своей он видит свой черёд,
и в этом — всё, и в этом — смысл его дорог,
его труда, его молчания и строк.

И если спросят: чем же держится живой,
какая пища кормит и ведёт тропой, —
ответ простой, как утро, как первый луч вдали:
любовь отца — тот хлеб, с которым мы дошли,
та тень, что держит нас, когда уж нет его,
и свет, что не погас, покуда есть родство.

И конечно же, как мы могли забыть ещё об одном главном члене этого семейства — о ризеншнауцере Пантелеймоне! Он был уже в почтенном возрасте, и детский плач, конечно, иногда его раздражал: ему хотелось внимания своей хозяйки, Малики Сергеевны, хотелось, чтобы весь мир на время сузился до них двоих. Она иногда заводила его в свою спальню, в специальное кресло — то самое кресло, которое они делили с этим почтенным бородатым ребёнком. «Знаешь, милый, — говорила она, — ты у нас смотритель, а мои дети и внуки тоже требуют моего внимания и заботы, но я всегда помню о тебе». И при этих словах она, как правило, давала ему вкусняшку; тот, конечно, съедал её, но в его умных глазах было иное: «Отдохнуть бы вам, Малика Сергеевна, не помешало бы — вон какая худенькая. Моя любимая хозяйка».

В такие минуты Малика Сергеевна вспоминает тот день, когда после освобождения из заложников увидела в палате госпиталя своего любимого бородатого ребёнка — ризеншнауцера Пантелеймона. Правда, главврач, человек большой, шумный, с усами и манерами того, кто привык распоряжаться и не привык сомневаться, слегка преувеличил масштаб бедствия: никакой чёрный исполин размером с телёнка вторые сутки не осаждал служебный вход. Пса привезли Яся, её дочь, и зять Никита — привезли бережно, как везут самое дорогое, что у них было. Но встреча огромного чёрного пса и его хозяйки — красивой худенькой женщины — до сих пор стоит у неё перед глазами: она вернулась, она жива, она теперь с ним.

Об этом она думает не часто: большие чувства лучше не тревожить без нужды. Но сегодня утро выдалось именно такое — тихое, серое, с дождём, стучащим по подоконнику, и с тем особым холодком под ложечкой, который она научилась узнавать и не пугаться. В такие минуты память сама открывает нужную дверь, и Малика Сергеевна входит в неё медленно, как в воду, пробуя ногой дно.

Больничный коридор пах тогда хлоркой и чем-то казённым, кисловатым, вроде остывшего чая и чистого белья из общей прачечной. Она лежала в отдельной палате — не по заслугам, а по обстоятельствам — и сначала ей казалось, что мир по-прежнему разделён на «до» и «после», а она находится в этом самом «после», где все звуки приглушены, а тела не слушаются. Руки были тонкие, чужие, с синими прожилками на тыльной стороне, и она подолгу рассматривала их, будто чей-то чужой рисунок.

Потом пришёл главврач, постоял у окна, посмотрел на неё поверх очков и сказал, что есть одна проблема, которую нужно решить, и решить её может только она сама. Проблема, по его словам, была в том, что внизу, у служебного входа, сидит чёрный пёс размером с телёнка, никого не подпускает, не ест и терпеливо ждёт. «Мы позвоним, его привезут. Только скажите, что вы готовы», — сказал он. И она сказала, что готова. Только звонить никуда не пришлось: Яся и Никита уже сами везли Пантелеймона через город, и об этом Малика Сергеевна узнала позже, когда всё уже было позади.

Дальше всё происходило быстро и немного нелепо, как бывает, когда собирают наспех придуманную сцену. Кто-то распоряжался, кто-то нёс, кто-то придерживал двери. В коридоре послышался звук, который она узнала мгновенно, — тяжёлый, неторопливый перестук когтей по полу, будто кто-то очень большой и очень осторожный шёл по стеклу. Потом звук замер у двери, и тишина наступила такая полная, что стало слышно, как в ординаторской капает кран.

И вот дверь открылась.

Пантелеймон вошёл не сразу. Он остановился на пороге, и Малика Сергеевна увидела его целиком — огромного, чёрного, с густой бородой, в которой запутались дорожная пыль и мелкий мусор, с блестящей шерстью на плечах и груди, с глазами, в которых стояло что-то простодушное и при этом совершенно взрослое, будто он за эти дни успел сильно постареть. Он был воспитан: не бросился, не запрыгал, не сшиб никого с ног. Стоял и смотрел на неё издалека, будто спрашивал разрешения.

Она приподнялась на локте — получилось плохо, слабо, — и сказала негромко, потому что голос тоже был ещё чужой. Слова вышли совсем не такими, какими она их придумывала все эти дни: никакой красивой фразы, никакой торжественности. Просто сказала, как говорят дома, когда возвращаются с работы, а тебя ждут у порога.

И тогда он шагнул.

Пёс был учтивый, воспитанный, лощёный — это она всегда про него говорила, и это было правдой. Он подошёл к кровати не вразвалку, как ходят большие собаки, а мягко, размеренно, будто нёс в зубах что-то хрупкое. Остановился у самого края, поставил передние лапы на пол, а голову положил на матрас, рядом с её рукой, и замер. Ни звука. Только дышал — глубоко, ровно, чуть слышно посапывая, как умеют только очень большие и очень терпеливые существа.

Малика Сергеевна не сразу решилась его коснуться. Она смотрела на его уши, на седую шерстинку над бровью, на то, как он прикрывает глаза, и чувствовала, как внутри отпускает что-то затянутое, что держалось все эти дни и не давало дышать. Потом она положила ладонь ему на голову — и он вздохнул. Один раз, коротко, будто поставил точку в длинном и неприятном предложении.

Главврач стоял в дверях и смотрел на это, держа руки в карманах халата. Он не стал ничего говорить, не стал шутить, как обычно шутил с персоналом. Вышел тихо и прикрыл за собой дверь, и в коридоре сразу зашумели, заговорили вполголоса, заходили — у больницы снова появился обычный ритм. Где-то у поста ждали Яся и Никита, не решаясь войти, и медсестра, выходя, шепнула им, что можно выдохнуть.

Они остались вдвоём. Пантелеймон лежал головой на краю кровати и не двигался, будто боялся, что она исчезнет, если он шевельнётся. Малика Сергеевна перебирала пальцами его бороду, вытаскивала из неё колючие соринки, и пёс терпел, только иногда чуть поводил ухом. Она говорила ему что-то совсем простое — про то, как долго её не было, про то, что он молодец, что ждал, про то, что теперь всё будет иначе. Он слушал. Собаки ведь слушают не слова, а голос, и она это знала, и потому говорила ровно, спокойно, не давая прорваться тому, что стояло у горла.

Потом принесли воды. Пантелеймон выпил — не жадно, а аккуратно, не расплескав, — и снова положил голову на прежнее место. Кто-то из медсестёр принёс сухарики, и он взял их деликатно, по одному, будто понимал, что здесь, в палате, не место собачьим манерам.

К вечеру его увели — не потому, что не хотели оставить, а потому, что так полагалось: в палате не место собаке. Он ушёл неохотно, дважды обернулся у двери, и в каждом его обороте было столько прямой собачьей тоски, что у медсестры, которая его выводила, дрогнул подбородок. А Малика Сергеевна осталась лежать, глядя в потолок, и впервые за много дней ей не было страшно от тишины.

Теперь, спустя годы, всё это вспоминается без надрыва. Пантелеймона давно нет, но и он, и та палата, и звук его когтей по линолеуму живут в ней тихо и прочно, как в хорошем доме живут старые вещи, к которым привык и без которых уже не можешь. Иногда ей кажется, что она снова слышит, как открывается дверь и кто-то очень большой и очень воспитанный останавливается на пороге, ожидая разрешения войти.

И она говорит, не открывая глаз:

— Милый мой, вот я и вернулась.

И память накрывает её снова и снова, волной за волной, и она вновь и вновь возвращается к своему повествованию — потому что всё и все важны для неё: в её доме, в её семье, в её жизни важны и люди, и животные. И в этом — вся её суть: «течинь эрямонь, течинь олячинь — олячинь вечкемс ды вечкемкс улемс» — в этом и заключается моя жизнь, моя свобода, свобода любить и быть любимой.

Михаил Гараевич неотступно шёл следом за этими двоими в свою спальню: что ещё за тайны, что за прятки — нет, всё должно быть у него на виду, под его недремлющим оком. А супруга его переводила взгляд с собаки на мужа и говорила плавно, нараспев, играючи, словно плела слова в лёгкое кружево.

— Мой Миша, — говорила она мужу, — ты у меня белый лебедь, а я чёрная.

— А вчера внучке ты говорил, что ты чёрный лебедь, — лукаво продолжала Малика, и в глазах её плясали весёлые искорки, так и норовившие вырваться наружу смехом.

Михаил смеялся — громко, от души, взахлёб, так, что, казалось, сами стены дома радовались вместе с ним, — и отвечал:

— Моя Богиня, всё смешалось в доме Хоркиных! Мы такие белые-чёрные, мы едины — и в этом наша сила, и в этом наша огромная любовь.

Малика снова уходила в родной язык, и слова её звучали мягко, певуче, как журчание лесного ручья, что пробирается меж корней и камней, неспешно и чисто:

— Кодат, кодат, монь вечкемазо, — говорила она по-эрзянски, и в этих словах было больше, чем в сотне самых пышных признаний, больше, чем в любых клятвах, что слагают на праздниках и забывают на буднях.

Михаил отвечал ей по-мокшански, и голос его становился низким, тёплым, надёжным, как отчий дом, в котором всегда горит свет и ждут тебя, что бы ни случилось:

— Монь вечкеман, монь ёмлазо, — и обоим было довольно этого тихого, древнего, как сама земля, разговора двух сердец, что понимают друг друга без лишних слов.

Пантелеймон поднимался с кресла и выходил из спальни. И с другой стороны за дверью ложился у входа, большой и спокойный, как страж у ворот. Все понимали: он ни за что никого

не впустит к ним — ни случайного, ни званого, ни позднего. Он берёг их покой так же верно, как земля берёг свои родники.

Михаил брал Малику на руки и целовал — легко, словно она ничего не весила, словно годы и вовсе не оставили на них своих отметин. А она в последнее время всё чаще говорила ему, прижимаясь щекой к его плечу:

— Носишь ты меня на руках всю нашу жизнь. Может, поберёг бы себя?

Он только смеялся в ответ — негромко, тепло, с той самой интонацией, которую она узнала бы из тысячи:

— В этом и есть моё здоровье. Ты — моя женщина, ты его и даришь.

И целовал её. И любил её страстно, без лишних слов и долгих разговоров, — ту искру, что вспыхнула между ними когда-то, не погасили ни годы, ни дети, давно уже взрослые, ни маленькие внучата, снующие по дому. Но жене он уделял внимание так, будто это был их первый раз, — и она отвечала ему той же страстью, растворялась в этой любви без остатка и жила ею — всей душой, всем дыханием, всем теплом своим.

Он держал её так, будто она была хрупкой драгоценностью, которую нельзя уронить, — и в то же время так уверенно, так по-хозяйски, что у неё сладко замирало сердце.

— Ты сумасшедший, — говорила она, уткнувшись лицом в его шею.

Она смеялась — легко, звонко, — а потом смех её постепенно стихал, таял, словно истончался в воздухе, потому что он опускал её на постель — не спеша, бережно, точно боялся нарушить это мгновение, — и сам садился рядом, и смотрел на неё долгим, неотрывным взглядом, от которого у неё перехватывало дыхание, как в молодости, как будто годы вдруг отступили и растворились в этом тихом свете.

— Что ты на меня так смотришь, мой Миша? — спрашивала она, хотя ответ знала наперёд, знала по этому взгляду, по этой тишине между ними.

— Любуюсь, — просто говорил он. — Имею право.

Они по-прежнему молоды, и любили они друг друга так, что ни одни слова в мире не передадут их чувств друг к другу.

Звучал когда-то сплин и песни у Кобейна —
гитарный шум, надорванный мотив, —
но а сейчас звучит мелодия иная,
в ней два дыханья, взятых в перелив,
два голоса, сплетённых в один тихий всплеск.

Мы растворяемся в любви и в нашей страсти,
как в тихом свете, что не гаснет много лет.
Держи меня, не отпускай, моё ты счастье,

пока в груди горит наш негасимый свет,
пока он тлеет и блистает — наперекор годам.

Былое эхо пусть звенит в пустой квартире,
пусть старый звук уходит за порог, —
у нас с тобой своя мелодия, а в мире
всё прочее стихает между строк,
как шёпот, что теряется в тиши.

И если время оборвёт аккорд привычный,
я всё равно услышу сквозь года:
два голоса — один мотив, простой и личный,
и в нём мы вместе навсегда,
покуда бьётся эта тихая струна.

Бабушке Малике пятьдесят пять, деду Михаилу пятьдесят семь — а в собственную старость им всё ещё не верилось. Они оставались молодыми, современными, подтянутыми и полными сил, потому что вокруг звенели детские голоса, и в доме не смолкала жизнь — она бурлила, переливалась через край, не давала ни минуты покоя и ни секунды уныния. А в августе должны были прийти на свет двое внучат, двойнята — мальчик и девочка. Яся и Никита уже знали, кто родится, и открыли эту тайну только самым любимым родителям, остальные же пока оставались в неведении, теряясь в догадках и добродушных спорах. Вместе с полом пришли и имена — их выбрал Никита, и теперь разворачивалась ещё одна тихая интрига, лёгкая, как шёпот за чайным столом, как случайно оброненное слово, за которым каждый ловил свой собственный ответ.

Старшие дети Никиты и Яси пошли внешностью в родню любимой супруги: их старший сын, Михаил Никитович, унаследовал черты бабушки Малики — те же глаза, тот же мягкий рисунок лица, — а доченька Малика Никитовна взяла себе черты мордовской ветви тестя, отца, которого Никита любил и глубоко уважал. Никита души не чаял в Михаиле Гараевиче: тот и вправду стал для него примером и настоящим отцом — тем отцом, которого ему так не хватало и в детстве, и в юности. Родной отец ушёл, когда мальчику было всего два года, и хотя любовь матери и деда значила для него очень много, это было одно, а отцовская любовь — совсем другое, её ничем не заменишь и не восполнишь. Никита поступил на заочное отделение престижного московского вуза, на юридический факультет. Музыку он любил всей душой — как-никак выпускник консерватории, — но серьёзная профессия, как говаривал любимый прадед Сергей Борисович, тоже нужна, да и династия как-никак обязывала. И он поступил — не под чьим-то напором, а по велению здравого смысла, спокойно и осознанно. Дома его ждала семья: любимая жена, дети. Своих двоих детей он любил горячо, до самозабвения и про себя называл их чёрным лебединым племенем. Но где-то в глубине души ему хотелось ещё и других — светловолосых, синеглазых, похожих на него самого. Все об этом знали и поддерживали зятя, потому что в этой семье умели поддержать — умели по-настоящему, без лишних слов и пустых обещаний. Малика Сергеевна, подходя к нему, всегда говорила: «Никита, у нас есть два птенчика, два чёрных лебедёнка — непременно придут и два белых лебедёнка, уж поверь мне». И он верил — верил ей так, как верят только тем, кто ни разу не обманул.

Его любимая супруга Яся была счастлива: ей только что исполнилось двадцать пять, и совсем скоро она станет мамой четверых детей. Никите исполнилось двадцать восемь. Он был очень ответственным за свою семью — иначе и быть не могло, уж слишком высока была планка: и в его собственной семье, и в семье его мамы с дедушкой и бабушкой, и в семье любимой супруги, с которой они жили дружно с самого первого дня знакомства и которая так его поддерживала. Да, ресурсы у них были отличные — связи, знакомства, финансы, — но и сам он стремился, сам добивался, и это было по-настоящему здорово.

Всё большое и благородное семейство замерло в ожидании рождения детей в этот душный, раскалённый августовский день. Яся смеялась, бережно гладя свой огромный живот — двойня как-никак, целых две жизни под сердцем. Ей было тяжело: такая юная, такая хрупкая, почти невесомая в этой своей ноше, — но она держалась стойко, без единой жалобы, и в её смехе звучало столько жизни, столько упрямой, светлой радости, что никто в доме не смел усомниться: всё будет так, как надо. И белые лебедята, её деточки — главное, чтобы здоровые, — они уже плыли к их семейному берегу, эти августовские дети, — медленно, неотвратимо, сквозь жару и свет, — а берег ждал их, тёплый, распахнутый и полный сияния.

Ясе предстояла плановая операция — кесарево сечение. Двое предыдущих естественных родов прошли успешно и быстро, третьи роды были иными, но рисковать не стали ни здоровьем матери, ни здоровьем детей. Никита будет в третий раз присутствовать на родах жены. Он уже дважды проходил этот путь, но сейчас — во-первых, двойня, а во-вторых, кесарево. Утром он брился у зеркала в клинике дольше обычного и всё ловил на себе взгляд Яси — спокойный, чуть насмешливый.

— Ты чего такой серьёзный? — спросила она, приподнимаясь на подушках. — Я же не одна туда иду. Нас четверо.

— Вот именно, — отозвался он, вытирая лицо полотенцем. — Четверо идут, а дома ждут ещё двое наших деток. Ясёныш, малышка моя любимая, как же я переживаю, я должен поддержать, а мне страшно. Вот поэтому эта серьёзность. Мне и положено быть серьёзным. Кто-то же в этой семье должен.

— А кто-то должен смеяться. Ничего не бойся, мой любимый муж, справимся, — сказала она и засмеялась, тихо, легко, и от этого смеха в комнате будто стало просторнее.

Малика Сергеевна и Михаил Гараевич были у себя в квартире с внуками и ждали новостей. Все переживали, но никто не подавал вида. Малика Сергеевна перебрала на кухне крупу, которая вовсе не нуждалась в перебирании, потом расставила чашки, потом снова их убрала. Михаил Гараевич читал в телефоне новостную ленту, и оба делали вид, что день самый обыкновенный.

И их старший внук Миша подошёл к бабушке, встал рядом, прижался к ноге и сказал негромко, глядя в пол:

— Бабуль, давай помолимся за нашу мамочку. Знаешь, мне как страшно.

Малика Сергеевна отложила полотенце, опустилась перед ним на колени, взяла его лицо в ладони и перевела взгляд ему в глаза — прямо, без тени утешительной лжи.

— Миша, родной мой, — сказала она. — А мы сейчас прогоним вмиг наши страхи. Вмиг, слышишь? Страх — он ведь только до тех пор и силён, пока мы его в доме держим.

Она выпрямилась и сказала уже вслух, на всю квартиру, тем самым голосом, которому в этом доме не перечили:

— Дедушка Миша, бери на руки нашу внучку Малику Никитовну, — сказала она, и взгляд её, тёплый и тревожный, перешёл на собаку. — Пантелеймон, живо, все — в нашу спальню. Будем молиться и ждать отличных новостей. Вашей мамочке и нашей доченьке сейчас не просто, очень не просто, но мы ей поможем своей тихой молитвой.

Михаил Гараевич отложил телефон в карман — аккуратно, будто это было самое важное дело на свете, — и поднялся. Взял на руки внучку, которая тут же ухватилась за его воротник, и поцеловал её нежно. Пантелеймон, чёрный, огромный, важный, поднялся с ковра, отряхнулся всем телом, будто сбрасывая с себя чужую тревогу, и пошёл последним, как и подобает собаке, знающей своё место в семейной иерархии.

Они уселись вчетвером на кровать. Пантелеймон улёгся в своё кресло, положил тяжёлую голову на подлокотник и вздохнул так глубоко, что Малика Никитовна засмеялась и тут же приложила ладошку ко рту.

— Ну вот, — сказала Малика Сергеевна, — уже и смеёмся. Значит, всё будет хорошо.

— Бабуль, — прошептал Миша, — а вдруг долго?

— И пусть долго, — ответила она. — Долго — это не плохо. Долго — это значит, что там всё делают не спеша и наверняка. Ты вот вспомни, как ты сам родился. Мы с дедом тоже сидели и ждали, и минуты тянулись, как целый год. А потом ты закричал — и год кончился в одну секунду.

— Правда?

— Истинная правда. Спроси деда.

— Истинная, — подтвердил Михаил Гараевич и положил широкую ладонь внуку на затылок. — Так что молимся, Миша, и ждём. Ждать — это тоже работа. Может, самая главная.

В комнате стало тихо. Малика Сергеевна шептала слова, которые знала наизусть с детства, и Миша шептал за ней, чуть отставая, путая, поправляясь. Михаил Гараевич молчал, но губы его тоже двигались. Малика Никитовна молчала у деда под бочком, и её дыхание было ровным и тёплым. Пантелеймон лежал в кресле, не сводя с них глаз, и не спал — он тоже ждал.

А в другом конце города, в сиянии операционной, всё уже решалось. И этот тихий, общий, семейный шёпот — он шёл к ним, сквозь жару и свет, как идут к своему берегу белые лебедята: медленно, неотвратимо, и никто в этом доме не сомневался, что берег их дождётся.

И берег дождался. Первым мир огласил звонкий, требовательный крик — мальчик. А через минуту, будто откликаясь брату, тонким серебряным голоском отозвалась и девочка. Белые лебедята приплыли — оба разом, как и обещала Малика Сергеевна, и операционная

наполнилась тем особым, ни с чем не сравнимым звуком, от которого у самых стойких перехватывает дыхание.

Сына нарекли Сергеем — Сергеем Никитовичем, в честь прадеда, Сергея Борисовича. В этом имени жила целая история — длинная, как сама родословная, и светлая, как память о человеке, которого в семье любили все. Прадед был уже в почтенном возрасте, но годы не отняли у него ни ясности ума, ни твёрдости духа: он по-прежнему оставался их опорой — неколебимой, надёжной, той, на которую можно опереться в любую бурю. А доченьку назвали Любочкой — Любовью Никитовной. Так захотел отец, их Никита. Он не объяснял долго, да и не нужно было: в этом доме понимали без слов. Любовь — это то, на чём держится их семья, тот невидимый фундамент, на котором стоят и стены, и традиции, и сами люди. Без неё всё рассыпалось бы в прах, а с ней — стоит неколебимо, что бы ни случилось. И имя дочери стало не просто именем, а словно короткой и ясной формулой их жизни.

А родились они двойнятами — Серёженька и Любочка, — и вес у обоих при рождении был совсем маленький, лёгкий, как первый снег на ладони. Но это никого не тревожило: в семье знали — накормят, выходят, согреют заботой, и окрепнут малыши, поправятся, нальются румянцем и силой.

Через три часа после родов, когда схлынула первая суета и в палате наконец стало тихо, Никита и Яся вышли на видеосвязь с родителями и старшими ребятишками — своими деточками. Молодая мамочка, бледная, но счастливая, появилась на экране всего на несколько минут. Экран ожил, и в нём показалась комната, знакомая до последней половицы: Малика Сергеевна, успевшая и всплакнуть, и улыбнуться; Михаил Гараевич с Маликой Никитовной на руках; Миша, придвинувшийся ближе всех к камере; и даже Пантелеймон, который, услышав голоса, поднял тяжёлую голову и пристально уставился в телефон.

— Ну вот, — выдохнула Малика Сергеевна. Она не плакала, как в прошлые два раза, — просто крепко, до побелевших пальцев, сжала руку супруга, словно в этом пожатии хотела удержать всё, что сейчас переполняло её сердце. — Наши любимые внучата. Свершилось.

«Папуль и мамуль, и мои любимые деточки…» — сказала Яся, хотя ей пока запретили много говорить, и голос её звучал тихо, бережно, словно она держала в ладонях что-то хрупкое и драгоценное. — «Полюбуйтесь на наше общее счастье! Представляете, вылитые папочка их… все в моего любимого мужа Никиту», — договорила она, и в этих словах было столько тепла, столько гордости и нежности, что казалось, будто само счастье присело рядом и слушает её вместе со всеми.

Михаил Гараевич посмотрел на Ясю тем особенным взглядом, каким умеют смотреть только отцы, — взглядом, в котором было столько нежности, что она, казалось, обнимала её издалека, согревала, не касаясь, и произнёс свою коронную фразу, которую в этом доме знали все и на которую всегда отзывалось что-то тёплое, живое в груди:

— Ясенька, доченька моя любимая, ничего не болит у малышки нашей, у моей мордовочки?

И Яся, у которой на самом деле ещё болело — глухо, тянуще, где-то под животом, там, где после кесарева остался рубцом зашитый шов, — не сказала об этом ни слова. Не пожаловалась, не вздохнула, не выдала своей боли даже тенью. Она лишь улыбнулась сквозь набе-

жавшие, дрожащие на ресницах слёзы, тихо покачала головой — так, как качают, успокаивая, набежавшую волну, — и ответила едва слышно, почти одними губами:

— Ничего, папуль. Теперь уже ничего.

Она перевела дыхание, и голос её окреп, наполнился светом, зазвенел тихой радостью:

— Деточки мои, Миша и Малика, теперь у вас есть младшие братик и сестрёнка — наши Серёжа и Любочка. Мы так рады…

Родители понимали всё без лишних слов — по глазам, по голосу, по тому, как вздрагивали у неё руки, как дрожала в улыбке каждая черточка лица. Малика Сергеевна, не сдерживая счастливых слёз, заговорила тихо, по-эрзянски — так, как говорили в её родном доме, где каждое слово пахло хлебом и теплом, где за каждым звуком стояли годы и голоса близких:

— Озатяно, озатяно, шумбрат, эрьва кудосо! Шумбрат, вечкевикс тёпе, шумбрадо, вечкевикс нуцкат, зяро монь эрямонь! Никита, серьгедемат, ванстомизь инешкипазось!

По-русски это звучало бы так: «Господи, Господи, здравствуй, в каждом доме! Здравствуй, любимая моя доченька, здравствуйте, любимые мои внучата, как же я счастлива! Никита, поздравляю, пусть хранит нас Бог!» — но в её устах это было не просто поздравление, не праздничная речь, сказанная ради приличия. Это была молитва и песня разом — древняя, как сама земля, что взрастила её, как воздух над полями, которым она дышала с первого дня. Так мать встречала дочь, подарившую ей внуков: не словами наставления, а благословением, идущим из самой глубины сердца, — и в каждом звуке этого напева дрожала тихая, светлая радость, смешанная с благодарностью за продолжение рода.

Затем она медленно обвела взглядом всех собравшихся — тех, кто сидел по обе стороны светящихся экранов телефона, — и строго, с непреклонной решимостью произнесла своё слово. И все поняли: спорить бесполезно, перечить не станут — её слово было законом.

— Все поздравления — потом, — мягко сказала Малика Сергеевна, утирая слёзы ладонью. — А сейчас… Никита, выключай телефон. Мы так рады. Береги нашу доченьку.

Экран погас, и в комнате установилась тишина — глубокая, наполненная, как тишина перед рассветом, когда мир ещё спит, но уже предчувствует свет. И в этой тишине, тёплой и хрупкой, в мир пришло их двойное счастье — и они начали его ощущать всем существом: кожей, дыханием, каждым ударом сердца, каждой клеточкой, которая тянулась навстречу новой жизни.

Малика Сергеевна присела на край кровати, и рядом с ней тут же устроился её любимый супруг Михаил Гараевич. На руках у них — два их бесценных сокровища, маленькие Миша и Малика. Она тихо, с нежностью произнесла: «Мой Миша и моя Малика, ваша мамочка скоро будет дома, и мы непременно её навестим — её и ваших брата и сестрёнку, наших двойнят Серёжу и Любочку». В этот момент всё вокруг словно замерло, и все были по-настоящему счастливы.

Михаил Гараевич произнёс, обращаясь к Малике: «А ведь она обманывает — говорит, что ничего не болит у неё…» «Мой Миша», — тихо отозвалась она, и в этих двух словах было

куда больше, чем в долгих объяснениях. Здесь, в присутствии наших внуков, не стоит развивать эту тему: они хоть и маленькие, но всё равно всё понимали и откликались на каждое слово любимого деда, ловили его с полуслова, будто чувствовали то, что взрослые пытались скрыть за привычными фразами. Мамы всегда говорят правду своим ребятишкам — и родителям, — когда уверяют, что ничего не болит. И мы ей верим. Верим, прекрасно зная, что на самом деле всё иначе: она ведь родила всего несколько часов назад. Но говорим мы это не от незнания, а потому, что так легче — и ей, и нам. Михаил посмотрел на свою мудрую Малику, и она посмотрела на него в ответ. Они всё понимали без слов — и в этом молчаливом взгляде, в котором читалось простое «ничего не болит», было столько всего, что и не выговорить словами: и усталость, тихо осевшая где-то в глубине глаз, и счастье, которое не кричит, а лишь светится изнутри ровным, тёплым светом, и благодарность — глубокая, бездонная, как колодец, — и та самая любовь, на которой держится их семья, та, что сильнее любого горя, любого страха и любого расстояния. А теперь этой любви стало на два сердца больше, на два звонких имени, на два белых лебедёнка — и от этого она сделалась ещё просторнее, ещё теплее, ещё несокрушимее.

В тот августовский полдень, тёплый и хмельной,
земля дышала мёдом, травами, росой,
и солнце улыбнулось с высоты небес,
и свет на колыбель сошёл — и мир воскрес.

И двойня к нам пришла — и сын, и дочь,
две звёздочки, что светят нам всю ночь,
два белых лебедёнка в тишине,
два голоска, поющих в унисон во сне.

Глаза у них сини, как у отца,
и локоны златые — без конца
в них солнце заблудилось и живёт,
и песню о любви земля поёт.

Они идут в наш мир — и в час дневной
мы славу воздаём Творцу, и над землёй
молитва наша тихая плывёт,
и небо наши голоса берёт.

А если спросят дети, чей над ними кров,
каким наречьем полон наш родимый зов,
мы скажем, тихо головы склоня:
«Шумбрат, дитя моё!» — приветствует земля.
«Шумбратада!» — ответят им поля.

Эрзянь кель — как родник в тени лесов,
мокшень кяль — как песня древних голосов.

Два языка, как две руки одной,
сжимают колыбель под небесами в зной.

Кодама мазы, кодама валдо,
кода телень валске, кода сёксь — те валтнэ:
— Шумбрат, эйкакш! — Мокшень кялься маряви,
эрзянь кельсь моли, и сёрмась — те морось.

Пусть в этих звуках — эрзянский, мокшанский —
услышат дети голос предков наших давних,
и пусть не гаснет над их колыбелью
молитва тихая — на языке родных и славных.

И будет рай обещан нам с тобой —
он тихий, ясный, где царит покой,
где дети родились, и мир их жизнь хранит,
и август повторится, и солнце вновь горит.

Там двое — брат с сестрой, как два крыла,
их мать над колыбелью замерла,
и лебедята спят в тени ветвей,
и мир хранит их — нет судьбы светлей.

И в этом свете — эрзя, мокша, русский —
одна семья, один исток, одна душа,
и колыбельная плывёт над миром,
тиха, светла, как август наш, — и благословенна.

Радость и утрата — два крыла одной жизни

Я всегда думала, что пятьдесят — это про других. Про тех, кто старше, кто уже прошёл свой путь, кто успел чему-то научиться и теперь с высоты прожитых лет снисходительно поглядывает на молодых. А оказалось, что это просто про меня. И сегодня утром я поймала себя на том, что стою у зеркала дольше обычного и разговариваю с женщиной в нём. Не вслух, конечно. Внутри. Тихо, бережно, как разговаривают с той, кого знают давно и кому наконец готовы по-настоящему довериться.

— Ну вот ты и здесь, — говорю я ей.

— Здесь, — отвечает она. — А ты думала, будет иначе?

Я не думала никак. Я просто жила, и годы шли, и я не замечала, как за спиной закрывались двери — одна за другой, тихо, без скрипа, почти беззвучно, будто кто-то осторожно притворял их, не желая меня тревожить. И однажды я обернулась, а за мной — не узкий коридор с чередой прожитого, а целая страна, которую я уже прошла. Ни пыли на её дорогах, ни следов — только простор, который уже стал моим, только воздух, которым я дышу, и тишина, в которой наконец слышишь себя.

Родители уходят. Это я знала — готовилась, читала, слышала от подруг. Но знать и стоять — совсем разные вещи. Пока они были рядом, я была чьей-то дочерью. Это чувство такое простое, такое глубинное, что я его даже не замечала — как не замечаешь воздух, которым дышишь. А когда его не стало, я вдруг поняла: надо мной больше нет купола. Той невидимой крыши, что закрывала меня от неба. Теперь небо — моё, целиком, со всей его высотой и всем его холодом, с его бесконечностью, в которую уже не спрячешься. И я стою под ним и понимаю: теперь я — старшая.

— Ты боишься? — спрашивает женщина в зеркале.

— Нет, — говорю я. — Я просто впервые чувствую, что стою первой в шеренге.

Это не страх. Это что-то другое — тоньше, глубже, острее. Это как в детстве: ты последний в цепочке и держишься за чужую руку, за тёплую и надёжную ладонь впереди, и вдруг тебя ставят впереди, и ты должен вести. Только теперь я веду не в игру — я веду по жизни. И рука, которую я держу, — уже моя собственная, и она не смеет дрогнуть.

Но вот что странно, что удивительно, что невозможно объяснить словами: в тот самый момент, когда я перестала быть ребёнком, ко мне пришли внуки. Ангелята. Я не люблю уменьшительно-ласкательные слова — они всегда казались мне приторными, сладкими до липкого привкуса на языке. Но эти — ангелята. Потому что смотришь в их глаза и видишь мир, который только что создан: ещё не тронутый, не потёртый, не знавший ни одного разочарования. Без износа. Без усталости. Без привычки. Они не учат меня жить — они возвращают мне вкус к жизни, и возвращают его щедро, не требуя ничего взамен. Я снова замечаю, как пахнет утренний хлеб — тёплый и живой, только что из печи, так что дух захватывает. Как звучит дождь по стеклу — тихо, настойчиво, будто выстукивает что-то важное, что я когда-то знала, но позабыла. Как важно, чтобы бабочка села именно на мою ладонь, — и весь мир на мгновение замирает в ожидании её лёгких крыльев. Я разучилась всему этому за долгие годы — мед-

ленно, незаметно, шаг за шагом, как разучиваются удивляться, — а они вернули мне это в одну секунду, без усилий, просто тем, что существуют.

— Вот ты и стала бабушкой, — говорит женщина в зеркале.

— Стала, — соглашаюсь я. — И знаешь, что самое странное? Я совсем не чувствую себя старой. Я чувствую себя нужной. И это чувство, оказывается, куда важнее любых цифр в паспорте.

Мне кажется, это и есть тонкая грань между поколениями. Не стена, не глухой разрыв — эстафета. Я всегда думала, что эстафета — это про бег, про скорость, про передачу палочки на бегу, про разгорячённые ладони и общее, сбитое дыхание. Но теперь я вижу иначе. Это вовсе не бег. Это стояние на перекрёстке. В одной руке у меня то, что мне когда-то дали. В другой — то, что я должна отдать. И самое важное — не уронить, не сжать слишком крепко, не задержать у себя, будто боишься, что не хватит сил. Просто передать. Дальше. Спокойно и бережно, как передают из рук в руки что-то живое и хрупкое.

Дочь моя выросла. Она уже сама мать, и я смотрю на неё и вижу себя — только моложе, только ещё в начале, только с ещё не потускневшим взглядом. И я понимаю, что теперь я для неё не просто мама. Я — крылья. Те самые, которых мне самой теперь так не хватает. Я не закрываю её от неба, не прячу её от ветра — я даю ей право не думать о падении. И это, оказывается, совсем не тяжело. Это как дышать.

— А ты сама? — спрашивает женщина в зеркале. — Кто даст крылья тебе?

— Никто, — говорю я. — И это правильно. Я выросла.

Я долго думала, что быть взрослой — это когда тебя больше не защищают. Что взрослость приходит вместе с тихим сиротством: никто больше не стоит за твоей спиной, никто не подставит ладонь. А сейчас я думаю иначе. Быть взрослым — это когда ты сам становишься защитой. Не стеной, не бронёй, а тем тёплым плечом, на которое можно опереться. И не потому, что должен. А потому, что иначе уже не можешь — внутри что-то переключается, и ты уже не представляешь, как можно было бы иначе.

Муж мой спит рядом, и я слышу его дыхание — ровное, спокойное, как шум далёкого прибоя за открытым окном. Мы вместе уже столько лет, что я не помню, где кончаюсь я и начинается он: граница между нами стёрлась так мягко, что её и не хочется искать. И в этом тоже что-то есть — тихое, глубокое, не про страсть, а про опору. Про то, что рядом кто-то дышит в такт с тобой. Он тоже стоит в этой шеренге. Мы оба стоим. И держимся за руки, как дети в цепочке, только теперь мы сами ведём — уже не нас, а тех, кто идёт следом.

Но самое непростое — не это. Самое непростое в том, что я теперь следующая в очереди. Туда. Я никогда не любила это слово — «туда». В нём слишком много окончательности, слишком много закрытой двери, за которой не слышно ни звука. Но я не могу не думать об этом, потому что теперь я вижу очередь. Она не выстроена в шеренгу, она просто есть, как воздух, — невидимая, но осязаемая на расстоянии вытянутой руки. И я стою в ней, и впереди меня остаётся всё меньше людей — по одному, по одному, будто кто-то тихо гасит свечи. Это не страшно. Страшно было бы, если бы я не успела понять главного.

А главное, кажется, вот в чём. Всю жизнь я куда-то бежала — не шла, не стояла, не дышала полной грудью, а именно бежала, не разбирая дороги. За успехом, за признанием, за каким-то завтра, которое непременно должно было оказаться лучше сегодня. Я гналась за этим завтра, как за горизонтом: оно отступало ровно на столько, на сколько я приближалась. И только сейчас, стоя в этой очереди, в этом неспешном людском потоке, где время течёт иначе, я вдруг понимаю: бежать некуда. Точнее, бежать можно — ноги ещё помнят, как это делается, — но в этом нет ни капли смысла, если так и не научилась стоять. Стоять и видеть. Ловить каждую секунду — не потому, что она последняя, а потому, что она единственная, другой не будет. Нет ни прошлого, ни будущего — есть только этот вдох, этот смех внуков, это утреннее солнце на стене, тёплое и по-домашнему неторопливое, будто оно тоже никуда не спешит. Всё остальное — черновики, которые уже не перепишешь.

— Ты жалеешь о чём-нибудь? — спрашивает женщина в зеркале. Голос у неё тихий, но взгляд не отпускает.

— Жалею, — говорю я честно, без привычки себя приукрашивать. — О том, что слишком долго ждала. Что не замечала того, что было рядом. Что думала, будто впереди ещё много времени — целые горы времени, за которые можно всё успеть.

— А теперь?

— А теперь я знаю, что времени ровно столько, сколько есть. Ни минутой больше. И это не мало. Это достаточно — если не разбрасываться им по дороге.

Я думаю об этом, пока сижу на кухне, и кофе в чашке остывает, тихо отдавая последнее тепло, а за окном кто-то торопится по своим делам, куда-то спешит, кого-то догоняет, и я смотрю на него почти с нежностью — я узнаю этот бег. И я вдруг улыбаюсь. Пятидесятилетний рубеж — самый сложный? Наверное, да. Но сложный — не значит плохой. Это как перевал: тяжело подниматься, зато с вершины видно далеко. И воздух здесь чище, и тишина глубже, и дышится, наконец, во всю грудь.

Я больше не дочь — но я мать и бабушка. Я больше не ребёнок — но я те самые крылья, которых мне так не хватало когда-то. Я больше не бегу — но и не стою на месте, застыв в ожидании. Я просто живу. И это, оказывается, самое трудное и самое прекрасное искусство из всех, которым я пыталась овладеть за свои пятьдесят лет.

Женщина в зеркале больше не задаёт вопросов. Она просто смотрит на меня — спокойно, тепло, без тени упрёка. И я понимаю: мы с ней наконец договорились. Она — это я, и я — это она, и обе мы стоим на этом рубеже, и обе знаем главное. Дело вовсе не в том, чтобы успеть. Дело в том, чтобы успеть заметить, как прекрасно всё, что уже есть.

У каждой осени есть год спустя — и ты, и я,
и снег ложится на следы, где мы бежали в неизбежность.
Нам дали шанс, но он прошёл, как гость на перекрёстке,
и поцелуй хмельной пьянит вином, где страсть и нежность.

Иная есть любовь — она не стынет с первым льдом,
с годами глубже, и теплей, и чище во сто крат.

Он бережёт её, как свет лампады под окном,
и руки целовать ей рад, и этим сам богат.

А я стою одна у подоконника, где кофе
остыл давно, и пар уже не спорит с темнотой.
Мне пятьдесят. И это не беда и не расплата —
я просто вышла на плато, где воздух — свой.

Я не машу рукой — я вглубь гляжу, где стало видно:
над крышей небо — не чужое, а моё,
и в нём простор такой, что кажется — я здесь впервые,
и всё, что не было со мной, — теперь уже моё.

Я впереди теперь. В цепи, где я шагала следом,
я первая, и тень моя ложится на пути.
И руку я держу у жизни — она моя, и ровно
дышит, и больше не боится, что там судьба мне пишет.

А рядом дети. Свет в глазах, который мир не тронул,
вернувший мне и запах хлеба, и дождя
по стёклам стук, и нежность к доли самой лучшей,
к тому, что просто есть, — и это главное, что у меня сегодня.

Я дочери теперь — крыло. Но не такое,
что держит в воздухе, а то, что учит отпускать.
Дышать. И быть. И знать: всё не напрасно —
оно не кончилось, а просто стало этим утром.

Где кофе тёплый, где светло и просто так,
и где никто ни перед кем не виноват.
Где можно просто сесть и никуда не мчаться,
и слушать, как в окне шумит чужая рать.

Они растут — и я расту по мере их,
не вверх, а вширь, как поле после жатвы.
И то, что я когда-то прятала в стихи,
теперь лежит открыто, без распятья.

Я не держу. Я только рядом — как забота,
что есть, но не мешает видеть дали.
И в этом доме тихо, как в степи,

и все слова давно уже сказали.

А утром — хлеб, и дождь, и детский смех,
и мне довольно этого. И я молюсь за всех.

Стоял промозглый ноябрь — месяц, ставший для их семьи роковым. В ноябре случаются встречи, из которых потом вырастает долгая совместная жизнь, но этот же месяц принёс им и утрату. Было около четырёх утра. Малика Сергеевна открыла глаза — она лишь недавно заснула, и сон ещё цеплялся за неё, не желая отпускать. В доме четверо маленьких детей: старшему внуку четыре с половиной года, внучке Малике всего полтора годика, а младшеньким двойнятам, Серёже и Любаше, скоро три месяца. Четыре взрослых человека — отец Никита, молодая мамочка Яся и её родители — с утра до ночи занимались детьми: кормление, уборка, прогулки, бесконечная суета, чтение сказок, танцы под смех и топот маленьких ног. Эти четверо — два чёрных и два белых лебедёнка — забирали всё их время без остатка, но взамен отдавали столько тепла, что его хватало на всех. Само понятие времени стёрлось в их реальности: спали по очереди, мало, урывками, вскакивая на первый же писк, — но ведь это временно, все понимали: дети вырастут рано или поздно. Все были уставшие и счастливые. Просто сейчас каждый чётко выполнял свои обязанности, и всё внимание, до последней капли, было сосредоточено на детворе.

Малика накинула пеньюар — лёгкий, торопливо запахнутый, — и следом за ней в комнату скользнул Пантелеймон, ризеншнауцер, личный телохранитель хозяйки этого большого, благородного семейства, неизменная тень у её ног. В гостиной, выпрямившись, точно натянутая струна, стояли двое: её супруг Михаил Гараевич в тёмных одеждах и Никита, любимый зять, который стал им сыном, — одетый так же, в тёмные одежды, так же строго. Они о чём-то говорили — негромко, отрывисто, — что-то записывали, торопливо чиркая по бумаге, и снова и снова пытались дозвониться, прижимая трубку к уху с тем сосредоточенным отчаянием, когда каждый гудок отдаётся в висках. А в воздухе висело то особое, звенящее напряжение, от которого стынет кровь и которое невозможно спутать ни с чем, — оно наполняло комнату, как вода наполняет тонущий корабль, и делало каждое слово, каждый взгляд тяжелее, чем они были на самом деле.

Её хрупкая фигура, тёмные волосы, стянутые в тугой хвост, а под пеньюаром — пижама с её любимыми пауками, чёрная в белых паучках. Она всё поняла. Поняла сразу, всем своим существом, — и всё же ей хотелось задержать эти секунды, растянуть их, удержать в ладонях, как ускользающий свет. В эти секунды они для неё живы, живы — пульсировало у неё в голове, отдаваясь глухим стуком где-то под рёбрами. Потом она заговорила, обращаясь к супругу — тихо, почти шёпотом:

— Мой Миша, скажи, прошу. Кто?

Она смотрела на него — на свою огромную любовь, на своего супруга, — и ей нужен был ответ, которого она не хотела, которого боялась всем сердцем, но всё уже случилось, и отменить этого было нельзя. Слёзы, крупные, тяжёлые, невольно уже катились по её щекам, оставляя влажные дорожки. Она понимала: никаких истерик — раннее утро, дети спят, да и Яся, кормящая молодая мамочка, — нельзя, нельзя сейчас, не время. И она держалась, держалась из последних сил, пока слёзы говорили за неё то, чего она не смела выкрикнуть.

Михаил подошёл к жене и крепко обнял её. Он обнял так, словно пытался заслонить её от всех бед мира, — но здесь, перед лицом утраты, он был бессилен перед законами мироздания. Он молчал, жалел её, быть может, берёг свою любимую Малику. А потом произнёс всего два слова:

— Вероника Андреевна.

— Мамочка моя любимая… — всхлипнула Малика.

— Держись, девочка моя любимая, держись, родная. Их помощница Виталина Марковна позвонила сорок минут назад, сказала, что проснулась и решила заглянуть в спальню к Веронике Андреевне, а она ушла тихо, во сне. Скорая уже на месте, остановка сердца, её сейчас увезут, — сказал Михаил.

— Отец… — вдруг сказала Малика Сергеевна. — Как он? Ему же почти сто лет.

— Он держится, Малика Сергеевна. Доктор осмотрел его, со скорой сделали укол. Сейчас приедет медсестра, их Валечка, она будет рядом, да и мы подъедем. Ясе пока не говорим, — сказал Никита.

Он подошёл к своей тёще.

— Примите мои искренние соболезнования, Малика Сергеевна. Мама Малика, держитесь, я с вами.

Женщина посмотрела на него удивлёнными глазами. Впервые он назвал её «мама Малика», а не по имени-отчеству. И сказал это искренне. Она высвободилась из объятий мужа и обняла зятя.

— Никита, сынок, благодарю, родной мой сын. Я так счастлива, что ты у нас есть, у Ясеньки, у ваших деточек.

Она обняла его впервые по-матерински — бережно, как обнимают того, кого долго не решались прижать к сердцу. И вдруг Никита заговорил снова:

— Я так уважал и любил нашу бабушку Нику, нашу Веронику Андреевну. Она всегда нас с Ясей прикрывала, всегда стояла на нашей стороне — с первого дня, как мы с Ясей познакомились. Ей одной я мог рассказать абсолютно обо всём на свете, без утайки, без страха быть непонятым. В ней жила какая-то необыкновенная, природная чуткость — она угадывала больше, чем ей говорили.

— Верно, родной, — отозвалась Малика Сергеевна, и голос её дрогнул. — Она была настоящим алмазом. Она — самое дорогое, чего у меня сейчас нет. Моя мама.

Михаил вновь обнял жену, словно пытаясь удержать её на краю этой тихой боли.

— Родная, на тебе Яся. Мы с Никитой не можем сказать, не можем — и всё тут, — промолвил Михаил Гараевич.

— Я сама скажу, — ответила Малика.

Она направилась в спальню Никиты и Яси. Уютная спальня, где спала Яся — их любимая дочь и молодая мамочка четверых детей в свои-то двадцать пять с хвостиком. Их свет, их солнце. Двойнята трёхмесячные, Серёжа и Любочка, мирно сопели в своих кроватках, и в этой сонной тишине было что-то до щемящего трогательное. Миша, старший внук, и Малика Никитовна, маленькая внучка, спали в спальне бабушки и деда. Малика Сергеевна осторожно подошла к кровати и легла рядом с дочерью. Две стройные женщины — хрупкие от самой своей природы, но сильные духом, гордые: красивая мать и её нежная дочь. В их тонких силуэтах читается та особая хрупкость, что даётся не слабостью, а породой, — и рядом с ней, не споря, живёт внутренняя стойкость, которую не сломить. Обе они держатся с достоинством, обе горды той тихой, ненарочитой гордостью, что не требует слов. Мать — красивая, с чертами, в которых угадывается прожитое и пережитое; дочь — нежная, словно ещё хранящая в себе отблеск её юности. И в этом союзе двух таких разных и таких близких женщин есть своя тихая сила: одна передаёт другой не только красоту, но и несгибаемость духа.

Яся открыла глаза — спросонья никак не могла понять, где она и что происходит, — потом перевела взгляд на детей.

— Мамуль, с Мишей и Маликой всё в порядке? — спросила Яся о старших своих детях, и в голосе её уже звенела тревога.

— Всё отлично, родная, спят сладко, — мягко ответила мать.

— Фух, — выдохнула Яся, и на миг ей показалось, что можно снова провалиться в сон. Но что-то не отпускало. — Мамуль, скажи мне, кто это?

Молодая женщина, их психиатр, дипломированный доктор, сразу поняла: что-то случилось. Иначе мать никогда бы не потревожила её в такое время.

— Яся, доченька моя, — заговорила Малика Сергеевна, и голос её дрогнул, — вести недобрые, и мне сейчас не просто, но я уже знаю ответ на твой вопрос. Час назад ушла наша бабушка Ника, твоя бабуля. Малыш, — продолжила мать, — держись. Она ушла во сне, тихо, не мучаясь. Папа и Никита уже всё делают для организации похорон. Малыш, помни, любимая моя: у тебя дети, и ты кормящая мать.

На пороге спальни стояли Никита и Михаил Гараевич — молча, не решаясь войти первыми.

Яся поцеловала мать и сказала:

— Как же я тебя люблю, мамуль. Держись. Соболезнования мои — нам всем.

И она так быстро юркнула из-под одеяла, словно хотела обогнать собственную боль, и пошла в объятья к отцу — «папуль», — потом к мужу Никите, а потом резко подошла к окну.

— Нет, не верю. Я отказываюсь верить в происходящее. Мамуль, а как же дедуля наш, Сергей Борисович? Он же совсем старенький! Папуль, Никита, его нельзя ни в коем случае оставлять одного, его нужно к нам. Сделайте же что-нибудь!

Яся в минуты горя не могла сдерживать эмоций — да и не нужно было: она такая, какая есть, и в тот момент она была права.

И в этот самый миг — словно сами небеса решили вмешаться в людские судьбы, — белая голубка по ту сторону окна на седьмом этаже принялась биться о стекло: трепеща крыльями, метаясь и ударяясь о прозрачную преграду, она словно просила, умоляла впустить её. Малика Сергеевна медленно поднялась и, не отводя глаз, шагнула к окну; следом подошли Никита, обнявший Ясю, и Михаил, обнявший Малику. И тут же, словно почувствовав что-то, в спальню вбежал маленький Миша. Никита подхватил его на руки, а Михаил Гараевич направился в свою спальню — за спящей Маликой Никитовной, за своей внучкой. Яся взяла на руки маленького сынишку Серёжу, а Малика — маленькую внучку Любочку. Все они понимали, все они чувствовали одно и то же: эта белая голубка — душа их Вероники Андреевны, и она пришла с ними проститься. И они все, всё это огромное дружное семейство, затаив дыхание, не отрываясь смотрели на неё. Эстафета передана от Вероники Андреевны Малике Сергеевне.

И Малика Сергеевна произнесла такие слова: «Мамочка, моя Ника, а как же теперь твоя Лика будет без тебя, твой паучок, который прятался в детстве за шторой на тонких ножках? Моя нежная голубка, если бы ты только знала, как любит тебя твоя дочь. Прости, и пусть Бог примет тебя в свою обитель».

А вот что сказала Малика на мордовском языке, на эрьзянском диалекте: «Монь, авам Ника, кода ней Маликась эряви без тонь, тонь паучоксь, кона ульнесь кекшезь эйкакшпингэ шторнть удалсо тонкатнень лангсо? Монь нежной голубка, бути содасак, кода вечктян тонь, тонь тейтересь. Кадк простя, ды пусть Инешкипаз примет тонь эстензэ кудос».

Уходит мама, бабушка от нас —
и в ранний час, когда светает двор,
голубка белая у наших глаз
садится тихо на оконный взор.

Она не молвит: «Навсегда, прощай», —
а шепчет только: «До свидания, родные».
И в этом слове — светлая вода,
и нежность, и любовь, и пониманье.

В то утро свет ложился на ладонь,
как хлеб, что подан доброю рукой.
И голубь белый — будто бы огонь —
согрел наш дом незримою тоской.

Она сказала: «Я у вас в дому,
я не ушла — я рядом, я живая.
Душа моя — тепло и свет тому,
кто помнит, как любила, не прощаясь».

Она детей и внуков берегла,
как сад весной, как первую зарю.
И сердце отдавала, как дары, —
любила больше всех, жила одними ими.

Разлука — это лишь закон,
который нам вовек не постижим.
Но белый звон, тот нежный, тихий звон
остался над путём нашим отныне.

И белым ангелом над нами
она парила — не прощалась,
а только тихо улыбалась
и повторяла: «До свиданья».

И если небо плачет по ночам —
то это слёзы тихого прощанья,
неслышного, как шёпот за окном,
как вздох, что тает в сумраке ночном.

Её любовь в сердцах у нас живёт,
не гаснет, не тускнеет с каждым годом —
она благословила нас вперёд,
как свет звезды, что светит над дорогой,
как тихий голос, что в ночи ведёт
и согревает даже в непогоду.

И белая голубка в вышине,
парящая в рассветной тишине,
напомнит нам в любое утро,
как в тот ноябрьский день душа твердила,
сквозь холод, сквозь немую стынь разлук, —
я с вами, деточки мои,
навек родные, — с вами, с вами, с вами.

Ноябрь в Москве выдался на удивление тихим — словно город на время приглушил свой шумный, торопливый голос. Небо висело низкое, серое, будто натянутое до предела полотно, и снег — редкий, колючий, — ложился на плечи и не таял. Рогожское кладбище встречало семью в это утро так, как встречало десятилетиями: лаконичными гранитными саркофагами, рядами старых стволов и той особенной тишиной, которую не спутать ни с какой другой. Кладбище устроили одновременно с Введенским и Ваганьковским — после указа Екатерины Второй о выводе всех захоронений за городскую черту. До революции здесь хоронили только старообрядцев, и надгробия были выполнены в одном стиле, отчего кладбище казалось не просто

погостом, а стройным каменным свидетельством целой эпохи. В годы строительства метрополитена этот гранит пошёл на отделку центральных станций — и теперь под землёй, в сиянии люстр и мрамора, продолжала жить память о тех, кто лежал здесь. В Рогожском лежали староверское духовенство, купцы — в том числе семейство купца Савы Морозова, — почётные граждане. И три храма стояли на одной прямой, выстроившись в строгом, почти литургическом порядке: ближе всего к кладбищу — храм Святителя Николая Мирликийского, отстроенный в 1776 году, за ним — Покровский собор, а дальше — собор Рождества Христова.

Веронику Андреевну хоронили по христианскому обычаю. Она была православной христианкой, и всё было совершено по канонам веры — без спешки, без суеты, с той строгостью, которую она сама любила и которой жила. Отпевание шло неспешно и строго: священник читал молитвы, и слова их звучали ровно, как звучат они, наверное, только над теми, кто прожил жизнь в согласии с ними. Потом гроб, покачиваясь на полотенцах, понесли к могиле, и земля, брошенная горстью, глухо стукнула о крышку — первый и последний звук, которым земное прощается с земным. Всё было так, как она хотела бы: никакой лишней суеты, никакой пустой пышности — только вера, только тишина, только то, чему она оставалась верна до самого конца.

Людей собралось так много, что кладбищенская дорожка под их ногами казалась непростительно узкой, будто сама земля не ожидала такого многолюдия. Всё семейство Михаила Гараевича было здесь: отец с семьёй, сестра Утяша с Владимиром, родственники самой покойной, приехавшие из Твери, родственники из Ставрополя, знакомые и друзья Сергея Борисовича — и люди, о существовании которых Малика Сергеевна даже не подозревала. Они держались поодаль, скромно, в простых пальто, и по их лицам было видно: они пришли не из вежливости, не ради приличий, а из долга сердца — того тихого, глубокого долга, который не требует ни слов, ни объяснений.

— Мама никогда об этом не говорила, — тихо сказала Малика, не отрывая взгляда от незнакомой женщины, которая беззвучно плакала у ограды. — Ни разу.

— Она вообще мало о себе говорила, — ответил Михаил Гараевич, бережно поддерживая жену под локоть. — Такие люди не рассказывают, они делают.

Оказалось, Вероника Андреевна при содействии супруга занималась благотворительностью: была попечителем, протягивала руку помощи тем, кого жизнь поставила в непростые, а порой и отчаянные обстоятельства. Вместе с отцом она держала хостелы и бригады, которые кормили бездомных — тех, кого обычно не замечают на шумных улицах. А в Твери они помогали детскому приюту: детям, которые при живых родителях остались никому не нужны — брошенным не войной или бедой, а собственным равнодушием самых близких. Весть о её кончине разнеслась по всей Москве и по Твери, и вскоре к месту прощания потянулись люди. Пришли проститься с ней представители разных слоёв, разных национальностей и вероисповеданий — и в этой траурной, многолюдной процессии было что-то от той самой тихой, но огромной любви, которую она отдавала, не считая, не требуя ничего взамен и, кажется, до последнего дня не сознавая её истинной меры.

Белицкая Вероника Андреевна. Законная жена Белицкого Сергея Борисовича. Мать — но не та, что родила, а та, что с первых дней жизни была рядом с Белицкой Маликой Сергеевной, ныне носящей фамилию мужа — Хоркиной Маликой Сергеевной. Женщина, которую любила не только семья и близкие Михаила Гараевича и Никиты, но и тысячи совсем незна-

комых ей людей. Для них она была настоящим земным ангелом — эта маленькая красивая женщина с глазами цвета незабудок, самыми красивыми глазами на свете, как любила повторять её дочь.

После похорон рядом с Сергеем Борисовичем остались его помощница по дому и медсестра Валечка — приятный молодой доктор с высшим образованием, между прочим, хотя сама она упорно называла себя медсестрой. Одинокая женщина тридцати трёх лет, которой однажды протянула руку помощи Вероника Андреевна и которая вот уже восьмой год день за днём жила бок о бок с этой семьёй. А маленькую, но свою квартиру в Москве Сергей Борисович помог ей купить — по просьбе Вероники Андреевны.

Вечером, когда они вернулись домой, квартира встретила их запахом горячего чая и плачем маленьких внуков. В этот день дети оставались с профессиональными нянями, но стоял такой ор, будто дети понимали, что их почему-то оставили родители и бабушка с дедушкой. Всем своим плачем они отказывались от чужих людей — от чужих рук, чужих голосов, чужого тепла. Да, это был самый тяжёлый день в их жизни, но это продолжение рода — эти чёрные и белые лебедята требовали внимания и заботы родных рук и родных лиц, и никто не вправе был им в этом отказать. Михаил Гараевич, который всегда мечтал видеть, как растут дети до пяти лет, — ведь о существовании дочери он сам узнал только когда ей исполнилось пять, — сейчас по-настоящему наслаждался этим четверным чудом в виде внуков, ловил каждое их движение, каждый взгляд, словно наверстывал упущенные годы. Малика Сергеевна иногда любя подтрунивала над ним: «И как тебе эти моменты?» А он целовал её, поднимал на руки и говорил: «Это сама жизнь, и я так счастлив».

Внуки наши — не просто продолжение рода, а живое, трепетное продолжение нас самих. Они — словно цветы, которые мы растим бережно, с любовью и волнением, вкладывая в каждый лепесток тепло своей души, отдавая им свет, что хранили в сердце долгие годы. Как родные Боги оберегают мир и род человеческий, так и мы оберегаем своих внуков — а их у нас четверо. И каждый их шажочек, каждое слово, каждый взгляд хочется сберечь в памяти, удержать, не растерять — как драгоценный дар, как светлую искру вечности, что никогда не погаснет в наших сердцах.

Два мальчишки, две девчонки —
наше счастье, наши звёзды,
наши песни, наши сны.
Два крыла — и два рассвета,
две улыбки, два ответа
на молитвы тишины.

Два мальчишки, две девчонки —
наше завтра, наша нежность,
наша вечная весна.
Пусть хранит их небо синее,
пусть растут в любви и силе —
наша гордость, наша жизнь сполна.

Малика и Михаил молча прошли на кухню. Там их ждали дела простые, но неотложные, и оттого казавшиеся особенно важными: вымыть руки — ванная комната была занята, — потом

пройти в спальню и переодеться, вернуться на кухню и выпить по чашке чаю, а после — отпустить весь персонал. Няни не справились, и это уже не обсуждалось: спорить было не о чем, да и незачем. «Ещё бы, — сказала на это любящая бабушка, — мы и только мы будем растить наших птенчиков».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.